



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

*С новыми годами,
дорогие друзья!*

ЮНОСТЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА

Я Н В А Р Ь

1 9 6 6

1

(128)

ГОД ИЗДАНИЯ
ДВЕНАДЦАТЫЙ

● ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- Сергей АНТОНОВ. Разорванный рубль. Повесть 3
- Леонид МАРТЫНОВ. Проза Есенина. Единая стезя. Диалектика полета. Твист в Крыму. «Есть люди...». Вдохновенье. Стихи 48
- Евгений ЕВТУШЕНКО. Римские цены. Процессия с мадонной. Жара в Риме. Факкино. Итальянские автографы. (Из цикла стихов об Италии) 49
- Ливиу ДАМИАН. Прозрение. Продавцы книг. Зрители. «Да, мама, моря ты не видела, родная!» Стихи. Перевод с молдавского Н. Коржавина 53
- Анатолий ЖИГУЛИН. «Я сыну купил заводную машину...». «Сухой красноватый бурьян на заре...». Кордон Песчаный. «Я спал, обняв сырую землю...». Стихи 54
- Булат ОКУДЖАВА. Промоксис. Рассказ 55
- Ал. ЛЕСС. Невыдуманные рассказы: 1. Дебют. 2. Дуэль. 3. Тост. 4. Невозвращенный долг. 5. Пропавшая рукопись 77
- Николай ЧУКОВСКИЙ. В осаде. (Из воспоминаний) 80

● К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

- О. ИВАНОВ. Устремленные в будущее 64

● ПУБЛИЦИСТИКА

- А. М. РУМЯНЦЕВ. Предвидимое Завтра 65
- Б. ЯКОВЛЕВ. Многогранен, как жизнь... (Заметки о впервые опубликованных письмах В. И. Ленина) 71

- А. ВАСИНСКИЙ. Письмо на «гражданку» 99

● НАУКА И ТЕХНИКА

- Л. БОБРОВ. Шестое чувство? 93

● ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

- * С. ЛУКЬЯНОВ. Дом № 3 на Кудринской площади. * А. ПЕТРОВ. Дежурства в тот вечер не было. * Арк. АРКАНОВ. Восемь с половиной 102

● СПОРТ

- Людмила БЕЛОУСОВА и ОЛЕГ ПРОТОПОВ. «Полпуда грации» 106

● НА СТЕНДАХ «ЮНОСТИ»

- В. ГОРЯЕВ. Микроскульптура Игоря Морозова 110

● ПЫЛЕСОС

- Арк. АРК. Возьмут или не возьмут (Фельетон-пародия) 111
- П. СМОЛЬНИКОВ. Моя бригантина 112

На 1-й и 4-й страницах обложки анварель Н. ЦЕЙТЛИНА. На катке. Портреты С. Антонова (стр. 3) и Б. Окуджавы (стр. 55) — худ. В. КРАСНОВСКОГО.

Художественный редактор Ю. Цишевский.

Технический редактор Л. Зябкина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Тел. Д 5-17-83.

Рукописи не возвращаются.

А 02145.

Подп. к печ. 28/ХП—1965 г. Тираж 2.000.000 экз. Изд. № 39. Заказ № 3220. Формат бумаги 84×108^{1/16}. Вум. л. 3,63. Печ. л. 11,89.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

● Булат Окуджава



ПРОМОКСИС

Рисунки Н. Цейтлина.

«...Я люблю парное молоко, но я от него отказываюсь, потому что не хочу, чтобы вы подумали, прекрасная Настасья, что я имею виды. Давайте забудем об этом. Посмотрите лучше, какое вокруг небо! А я ведь приехал не затем, чтобы наслаждаться парным молоком, а чтобы полной мерой почувствовать вашу красоту. И это настроило меня на высокопарный лад, хотя я в общем прост и избегаю особой выразительности. Но там, где я живу, а именно в городе, и в самом центре, там люди отучаются от свободного течения слов, а говорят лишь то, что крайне им необходимо по всяким условиям... Позвольте мне говорить, как у меня выливается, и нисколько не заботиться о том, какое это произведет впечатление на окружающих. Я плохого ничего не скажу, потому что думаю только хорошее, а уж как это будет сказано,— пусть останется на моей совести. Итак, я знаю, прекрасная...»

Но в этот момент она появилась снова и протянула ему кружку с парным молоком, а сама отвернулась, чтобы не очень, наверное, его смущать, и он стал с наслаждением пить это молоко, даже позабыв про приготовленную фразу. Да и зачем что-то говорить? Ах, это все напрасно! Он даже имени ее не знал. Просто проходил мимо, увидел ее в окне, хотел побалагурить, но испугался ее синих глаз и жалко выклянчил кружку парного молока. Почему молока? Объяснить трудно.

Он допил молоко и медленно вернул ей кружку,

и в тот момент, когда она собиралась уходить, он вдруг почувствовал ужас, что больше никогда ее не увидит, хотя тридцать лет жил без нее и еще бы, наверное, прожил.

И этот ужас заставил его вскочить со ступенек, на которых он так странно устроился.

В мире, в котором жили бабочки, и стрекозы, и различные звери, и росли деревья, иплыли облака; в мире, в котором люди придумали любовь с поцелуями, и песни, и подношение цветов и где соседствовали страх и смех, рождения и смерти, в этом мире ничто не могло существовать просто так, а все имело свою подоплеку, и ничто не могло казаться странным и лишним, потому что всему свое.

И это была, наверное, главная философия этого мира, в самом центре которого находились те ступеньки, на которых сидел вот сию минуту Павел Сытов перед ликом своей судьбы.

В левой руке он держал гитару. Был конец воскресенья, и пора было возвращаться в Москву, но он не представлял, как теперь это ему удастся, да и она никак не уходила обратно в свой дом, мучая его, вызывая в памяти робкий образ величественной его Маруси.

Черт знает, как это получилось!

А он-то... он-то!.. Мечтал ходить по незнакомым людям, всматриваться в них и говорить:

— Здравствуйте, это я, Сытов, с гитарой. Я вообще токарь. Но по воскресеньям играю на гитаре, на древнем инструменте, происходящем от древних греков, который назывался кифара и издавал звук при помощи щипания. Здравствуйте, это я, Сытов. Если кому что нужно, прикажите...

И вдруг он понял, что она смотрит на него с большим интересом. Смотрит — и все тут. Но он не решился поднять голову и полюбопытствовать, как именно она это делает. Может быть, она разглядывает как раз редкие волосы на его темени и знает секрет, как их восстановить?

И все-таки он взял себя в руки, пересилил свой страх и посмотрел на нее, но ее не было.

Печально и смешно сидеть одному вот так на крыльце. А там, за дверью, она неслышно ходит по комнате и, наверное, прислушивается, ушел или нет. Ах, будь ты неладно! И от молока тоже вкус паршивый... Лучшее бы пиво... А все-таки Настасья она или кто другая? А что, если войти? И не постучаться, а просто... Вот он я, Сытов, с гитарой... И знаете, между прочим, я думаю, что незачем мне сюда много раз приходит только потому, что так водится, а давайте с первого раза. У меня тоже есть достоинства, которые под ногами не валяются... Я Сытов. А вы?

А между тем становилось темнее, то есть солнышко уже зашло, и было преддверие вечера. Потом будет ночь. В августе ночи темные, густые, без надежды на утро.

И вдруг Сытову не захотелось вставать со ступенек. Ведь может человек позволить себе не вставать, когда ему не хочется вставать, а вставать надо? Ведь вот придет последняя минута жизни, спросишь себя самого: «Ну, как, брат?» — и ответишь: «Да в общем никак...» «Чего опасался?» «А кто его знает чего? Опасался — и все тут, стеснялся, наверное, или не приучен был к этому...» «Что ж ты, брат? А вот теперь поздно...» «И то верно...» Больше ведь ничего не придумаешь для ответа.

И вот, наверное, надо иногда себе позволять, то есть, позабыть про всякие правила, и не то чтобы убить, или оскорбить, или ограбить... Нет, нет, всего лишь не встать с чужих ступенек, чтобы, может быть, дожидаться ее, а может быть, и нет, но сидеть, потому что сидит.

И это так прекрасно: вечер, листья шумят, звезды (значит, дождя не будет), тишина, гитара теплым боком к тебе прислонилась. Воистину кифара! Впрочем, можем допустить, что у нее есть свой интерес: кто-то другой у нее, допустим. Тогда где же он? Шляется? Или, может, он дома спит? Лежит на спине с открытым ртом, и она ему совершенно не нужна?.. А если так, то нечего и церемониться, можно и подождать... Или этот самый, наоборот, влюблен в нее до беспамьятства... Тогда? Где же он тогда? Разве его место не здесь же, на ступеньках, рядом с Сытовым? Хотя, с другой стороны, почему он, Сытов, на Марусиных ступеньках не сидит?..

А между тем вечер накалится. Август — это не июль. Воздух был холоден. В доме было тихо. Может быть, она решила, что он ушел, потому и не интересуется? Почему бы ей действительно не взглянуть, не высунуться хотя бы? А если она считает, что он ушел, почему бы ему не побренчать на гитаре и в качестве намека и для личного развлечения?

И он коснулся медных струн прохладными от вечерней сырости пальцами... И тотчас в доме одно окно осветилось, и желтый отсвет его упал на Сытова.

Нет, это не смешно, думал Сытов, сидеть здесь

сгорбившись да еще с гитарой. Другой, наверное, сидеть бы не стал. Он бы давно постучался...

И Сытов снова поддел струны с отчаянием и надеждой. Но она не выходила, а вместо нее возникла Маруся, словно стоит вот здесь перед ним, живая и горячая, и смотрит на него с укором.

Конечно, представлять можно все что угодно, но ведь есть и совесть, а почему-то она словно потерялась.

«Будем рассуждать таким образом: Маруся — человек легкий. Чего же мне надо? Но разве кто может определить: что и зачем? Отчего я сижу здесь в эту чистую холодную ночь, как дурак, с гитарой на ступеньках? Почему одна не выходит из дому, а другая — из головы? И словно здесь стоит, рядом, у этого вот куста? Молитвенно сложены руки, и очи страдания полны, и в сердце... И вот такая дребедень может прийти человеку в голову! Романс. Старинное барокко».

Он снова коснулся струн. Маруся качнулась у куста. Качнешься тут — холод какой! Прощай, лето...

Но Маруся сделала шаг к нему, еще один, протянула руку.

— С ума сошел?

— Нет, — сказал Сытов, — а впрочем, кто его знает?

— Сидишь на чужом крыльце... Эх ты!..

— Ты никому не говори, — сказал он, — это пройдет у меня... Гитару вот жалко.

Она взяла у него гитару и пошла прочь. А он пошел за ней. Он шел за ней легким индийским шагом и думал, что теперь олень врасплох его не застанет, а как выскочит из чащи, — тут ему и конец. И он поднял ружье повыше и выстрелил в небо, взял да и выстрелил. И больше не было ни Маруси, ни оленя, ни ружья. Та же лестница, то же крыльцо, и утро, и роса, густая, как пивная пена. Холод собачий! А возле дома мотоцикл. И мотоциклист постучал к ней в окно. Он был в сапогах, в черной кожанке на «молнии». И высок был и широкоплеч... Сытов хотел было крикнуть, что, мол, нечего в такую рань в окно, но спохватился: дом-то не его, и окно не его, и та, которая за окном, тоже чужая. А этот стучал так весело и даже отчаянно, как дятел по стволу. И Сытов решил затаиться: авось, пронесет.

Потом открылась дверь, и она сбегала по ступеням и так торопилась, что даже не заметила его, сидящего! Она поцеловала того, в кожанке, и уселась за его спиной, и обняла его за плечи.

И они покатали, сначала прямо по траве, словно Сытова и не было в этом мире, и ему захотелось крикнуть им, спросить: куда, мол, это они? Да неужели они такие счастливые?

Потом он вышел к станции в том месте, где дорога пересекает железнодорожное полотно и получается крест. И у самого этого креста пивной ларек, а у самого ларька тот самый мотоцикл, а хозяйка неизвестно где. И сосны, и платформа с пассажирами, и провода, и утро — это как насмешка над ним, Сытовым, опоздавшим на работу.

И он подумал, подбираясь к ларьку мягким индийским шагом: да гори оно все! Пере-сту-па-ю!.. Вон они все смотрят на часы, боятся опоздать на работу или на свидание, а я, передовой токарь, хожу среди них, и мне легко и прекрасно, и если меня изобразить на фотографии, я получусь достойным зависти и уважения. Уважайте меня! Среди вас живет и ходит Сытов с гитарой, полный любви и других чувств, любящий вас всех, потому что он сильнее и прекраснее вас. И пусть это на одно лишь мгновение, на одно утро, но это есть.



В это время из ларька вышел худой и усатый продавец пива, взял мотоцикл за руль, как за рога, и медленно стал вводить в ларек. Мотоцикл упирался, вертел рогами — не хотел идти, но не мог побороть человека.

Но как же так его берут, чужую вещь, среди белого дня и запихивают в свою лавочку на виду у прохожих? А где же те двое, что ехали обнявшись и полные счастья? И Сытов заторопился по платформе, вглядываясь в лица. Но словно специально для

него все были парами, и все пары стояли, отворотившись одна от другой, спиной к рельсам, и тихо беседовали.

И все-таки, подумал Сытов, вот такие счастливые и плюющие на все, они ждут поезда, который их повезет, чтобы им не опоздать куда-то, и все-таки есть над ними сила в виде часов, которая им все диктует: как можно, а как нельзя. И только он, передовой токарь, позволил себе ночь на чужих ступеньках, а потом медленно идти через лес, а теперь бродить вот здесь и представлять, как мастер думает, что у него, у Сытова, может быть, ангина или перелом ноги. И только он, вертя августовскими рогами, как бык, которого в ларек не утянешь, продолжал размышлять обо всем, пока те, другие, были занятыглядением друг на друга.

И все-таки это было приятное зрелище — наблюдать любовь вокруг себя, которая текла, как время, без скандалов и шума, по самым высшим законам. И если бы, подумал он, вдруг сама платформа тронулась с места и помчалась бы, они, наверное, и не удивились бы и не шевельнулись, а стояли бы вот так в обнимку и мчались бы неизвестно куда, выражая счастье на лицах и в каждом жесте.

И тут он снова вспомнил о Марусе, которая говорила ему:

— Чего это ты каждое воскресенье с гитарой на Клязьму ездешь?... Наверное, у тебя какая-нибудь там завелась?... Чего ты там потерял? Ездит и ездит, как дурачок... Другие в гости друг к другу ходят, в кино, в парки, мечтают о будущем...

И он представил себе, что сидит с нею рядом, перебирает ее завитушки на шее, слушает ее воркотню, и ему не хочется почему-то закричать от переполненности чувств, разбить стакан или вообще бросить что-нибудь об пол, чтобы радостным звоном стекла изобразить свое счастье. Не хочется.

Он даже начал представлять себе, как все-таки это ему захотелось, и он вскочил, и крикнул, и бросил что-то, и закружился с ней, и они вместе помчались под грохот мотоцикла. ...Но получилось, что мчится он один. И сколько он ни начинал сначала эту езду, все Маруся куда-то сваливалась...

Когда он видел тех длинноногих, в ярких платьях и браслетах, разве он завидовал тем, что идут с ними рядом? И Маруся тогда возникала перед ним для сравнения, насмешливая и строгая, которой все ясно, и было хорошо укрываться этой ясностью перед уличной неразберихой.

Однако с Марусей в обнимку на мотоцикле не полетишь, крича и ликуя, не бросишь мотоцикл у пивного ларька, не позабудешь про него, чтобы ходить неизвестно где парой и не замечать людей...

Да неужели же нельзя иначе? И чтобы головы себе не ломать? А там, в цеху, все сбилось с ног, наверное, а может быть, и нет, а он здесь. И никто не в силах разгадать эту великую тайну: кому что.

Электричка налетела стремительно, словно перед тем долго подкрадывалась. И вдруг, усевшись, Сытов сразу разглядел тех двоих. Ее! Они сидели у окна. И он что-то говорил. А она слушала, и губы ее чуть-чуть шевелились. И причесана она была наспех, даже нечесаная скорее, и прядка одна пересекала ее лицо.

Но большой лоб ее на худеньком лице был все-таки открыт, и она словно неслась куда-то вперед, далеко, в неизвестность. И руки ее лежали на коленях, как у монашки. Она слушала. А этот, в кожанке, был не очень-то молод, и рука его терялась где-то за ее спиной.

Что они обсуждали, трудно было догадаться.

Зачем же Сытов всю ночь просидел на ступеньках? Чтобы этот не очень симпатичный и даже с нахальством в лице укатил бы ее вот так просто на мотоцикле? Эх, Маруся, не осталось живого места в голове! Если бы еще позавтракать, а тут на пустой желудок. И сидеть против этой нечесаной... Но (господи ты, боже мой!) просто оторваться невозможно. Вот оно как! Этот, в кожанке, говорит, а та, что рядом с ним, внимает, и ей, видно, лестно слушать его.

«Маруся! — крикнул Сытов в душе. — Разве я другого чего хотел?»

И он опустил голову на грудь. Гитара молчала сбоку. Поезд шел и останавливался, шел и останавливался.

И вдруг словно на гитаре рванули струны. И все сместилось. Сытов хватился за гитару, но она молчала. А там, впереди, черная кожанка мелькнула и замелькала от сиденья к сиденью мимо кричащих пассажиров, дальше, дальше... Как будто этот, с нахальным лицом, полз на коленях по проходу... И Сытов в тот же миг увидел два ее синих глаза и худенькую руку, протянутую вперед. Локоть... Плечо... Крик...

Некто в клетчатом пиджаке рвался за ползущим, но толпа мешала. А парень, высокий, в фуражке, взобрался на скамью, как циркач, и того, в кожанке, кривым ударом... И снова тот пополз, и люди отхлынули к окнам, подальше, подальше... А она... Она встала перед клетчатым пиджаком, который был шире ее...

«Да что это они? — промелькнуло в сонном мозгу Сытова. — Эти двое бьют того, в кожанке, за нахальное лицо?... Драка!» — вдруг понял он. И стал пробираться туда, поближе... А тот, в кожанке, опрокинулся снова. (Так его!) И стало слышно, как кричат. Жутко кричат. И Сытов пролез еще ближе и увидел перед собой кровавый крест на лбу того, в кожанке... И он полз со своим крестом прямо на Сытова, и уже не нахальство было в его глазах, а они были прищурены и горели, словно последним огнем, как у затравленного, когда пощады от него не жди... «Эх, гитару позабыл!» — подумал Сытов почему-то.

— Сергей!.. Сереза!.. — крикнула вдруг она. — Встань!.. Встань!

А парень в фуражке, утирая губы, нагнал этого, в кожанке, и замахнулся, чтобы ключом... «Сейчас врежет!» — подумал Сытов.

И вдруг она снова протяжно закричала:

— Сергей, берегись!..

Так закричала, что Сытова качнуло вперед. И парень в фуражке опрокинулся от его кулака на оружии каких-то, а ключ его, как воробей, упорхнул неизвестно куда, а Сытов добрался до клетчатого в пиджаке, рванул его на себя: «А ну, гляди, молодчик!» И клетчатый повалился, как соломенный.

И в этот момент Сытов перехватил ее взгляд. Она смотрела на того, в кожанке, а на Сытова — нет. «Не помнит, — подумал он, — забыла».

И вот они уже стояли рядом, он и тот, в кожанке, который успел стереть свой крест — и хоть бы что. А те, двое, полезли к выходу.

— Нельзя их выпускать, — сказал этот, в кожанке, Сергей, что ли.

— Пусть ползут, — отплюются, — сказал Сытов.

Но тут парень в фуражке обернулся и крикнул ей:

— Ну погоди, сука!

И тогда Сытов рванулся на этот крик, потому что он успел увидеть два синих глаза и искаженное



тоской ее лицо, а фуражечка плыла к выходу вслед за клетчатым пиджаком...

Те двое выбрасывались из поезда с отчаянием, еще до полной остановки. Сытов работал кулаками в тамбуре и не мог себя остановить. Нароботался. Теперь семь дней тошнить будет... Одно уте-

шение — гитару пощадили. Она лежала на скамье и глухо звенела, старая подруга. Воистину кифара!

А та, с синими глазами, уже улыбалась и, улыбаясь, прикладывала ко лбу этого, в кожанке, платок, что ли... Потом она взглянула на Сытова и кивнула ему как-то туманно. «Не узнала, — подумал он, —

не вспомнила... А этот ее симпатичный такой... Они его, наверное, сзади... Понедельник — день тяжелый...»

Приятно Сытову было ехать: она не причитала, эта, с синими глазами, и страха в ней не было и злости. А те, двое, которые выбросились, наверное, тоже переступили? И Сытов усмехнулся и тайком пощупал мускулы на левой руке — ничего, внушительно...

Он пересел к ним поближе, робко, еле себя заставил... А не пересестя не мог.

— Спасибо, — сказал тот, в кожанке, и засмеялся.

— За что они вас? — спросил Сытов.

— Это мы их, а не они нас, — сказал тот, посмеиваясь. — За всякие слова, да?

Она кивнула. Сытов сидел перед ней прямо. Она оглядела его с гитарой и отвернулась к своему, в кожанке. «Не узнала, — подумал он, — не вспомнила...»

Он хотел сказать: «А здорово мы их?» Но не сказал. Он хотел спросить у нее: в Москву едете? Но смолчал. Конечно, в Москву. Глупости дорожные. Чужое, чужое... А зачем он тогда рядом сел? Почему не отправился в другой вагон думать, куда они с Марусей в следующую субботу поедут? Ведь если трезво прикинуть, эта тоже длинноногая. Мало ли что нечесаная... Хотя бы сказала что-нибудь, чтобы можно было глаза прикрыть спокойно, а уж если и не прикрывать, а смотреть, то на нее смотреть прямо.

Но Сытов смотрел как раз на этого, в кожанке, которого звали Сергеем, а на нее не смотрел, как она этого своего бесстыдно гладила по голове и по плечу, на удивление вагону. Вагон-то молчит, потому что стыдно... А почему стыдно, никто не знает. А чего стыдиться? Взяли бы да и помахали кулаками! А теперь стыдно — за себя стыдно: вот, мол, по углам рассыпалась. И за них стыдно: чего это они в обнимку сидят? «А я их здорово, — подумал Сытов. — Самбо...»

— А вы их здорово! — сказал этот, в кожанке, Сергей. — Я уж думал, конец. — И засмеялся.

— Кулаками махать нужно, — сказал Сытов дружелюбно. («А что? Парень симпатичный»). — Они сзади, что ли?.. Внезапность?

— Они к девушке вот к этой приставали, — сказала какая-то дама.

— Надо было без слов по шее, — сказал Сытов, не глядя на даму.

— Ему нельзя, — вдруг сказала она (с синими глазами), и зябко поежилась, и погладила этого своего. — У него на груди стеклянные ценности... — И тихонечко засмеялась и снова на Сытова ноль внимания...

«Да что ж это она?!» — подумал он.

И тогда этот Сергей вытащил из-под кожанки голубые и розовые пробирки, в которых переливались пузырьки и покоились неизвестные кузнечики с лапками, сложенными на груди, и с поджатыми коленками... Они были, конечно, неживые, и вот во имя их неизвестной славы он и полз по проходу вагона с красным крестом на лбу.

Он показывал своих кузнечиков и разглядывал их на свет, а она смотрела на него, и никуда больше: ни на Сытова, ни на даму, ни в окно, где сосны пополам с березами — вид прекрасный.

Когда из куска стали рождается на свет ось или, скажем, колесо, — это ж можно петь и нести свою гордую голову по всему цеху, по городу, вдоль всей Клязьмы. Ведь этот поезд и колеса, на которых он бежит, и все, и все — ведь это под резцом лежало, и пело, и стружку вороную выпускало, и он, Сы-

тов, припадая к станку, как к пулемету, разве думал (знал, но разве думал?) о кузнечиках, плавающих в спирту, или о мухах, или о тараканах?..

А Сергей покачал пробиркой, и кузнечик — или кто там еще — плавно перевернулся...

— Гриллоус, — сказал Сергей, — а этот вот пфеудонеуроптера, — и показал на маленькое что-то без головы как будто, — а это стомоксис...

Она засмеялась, глядя на Сытова.

«Не вспомнила, — подумал Сытов, — позабыла...»

Стомоксис — фамилия этого кузнечика или мухи... Стомоксис... Как иностранный граф... И вот она, значит, сидела дома, давала Сытову молоко, а сама думала об этом своем Сергее, пока он там на мотоцикле носился за всякими стомоксисами и в пробирки их насыпал! И они лежали там в своих баночках, в своем спирту и требовали к себе уважения и любви (ну надо же!), как какие-нибудь родственники или гости... И он, высокий и уже немолодой, похожий на полярного летчика, брал этих стомоксисов бережно, двумя пальцами, чтобы не помять, и привозил, ей показывал... Наука? А у него, у Сытова, не наука? Наука. Так в чем же дело? Вот беда...

— Господи, — сказала Маруся у него в душе. — Пашка, убери руки! Люди смотрят...

А по вечерам где-нибудь в саду, на лавочке, или на притихшей набережной она говорила в самое ухо:

— Пашка, Пашка, черт! — И это все жарким шепотом. И она, как птичка, билась у него в руках и уже не говорила разных слов, а только: — Пашка, Пашка, Пашка...

Потом они шли по набережной неизвестно куда, а навстречу шли другие парами, тоже неизвестно куда. Вот, если здраво рассудить, как хорошо: все как у людей. И пока у тебя все так, никто тебя не тронет, слова не скажет — целуйся, гуляй, завтракай...

А эти обнимаются в деловом поезде, когда все работать едут, стомоксисов показывают, и на всех им наплевать... Тоже переступили? И он на мотоцикле своем к ней торопится, и мотоцикл-то у него, наверное, чтобы к ней торопиться, лихо подкатывать к крыльцу...

— Маруся! — крикнул он в душе своей. — Поедем на Клязьму ходить по траве в обнимку и чтоб про всех позабыть! Жизнь короткая, а я тебя не знаю...

— Пашка, ненормальный, — сказала Маруся, — ты что, не любишь меня больше? А?.. Ты как маленький... — И жарким шепотом: — Дай руку. Вот сюда... Ну?.. Глупый ты...

— А ты касаточка моя, да?.. А почему жизни не хватает, чтобы радоваться?..

— Ты меня до дверей не провожай: наши увидят. Ну чего за платье-то? Пашка!.. Помнешь ведь!

...А в пробирках кузнечики, лапки сложив, покачиваются. Эта на этого своего смотрит, не оторвется... Несчастье! В древности меня за лихой удар подняли бы во-о-он куда... Стомоксис... А теперь я прогул совершил, и не по пьянке и не по вздорности, а совершил. Почему же? А потому, что мне надо было поглядеть, как они на стомоксисов своих смотрят и друг на друга — и что это все значит? Вот сейчас Москва будет, и они понесут своих стомоксисов неизвестно куда... И мы распростимся. И она даже не посмотрит на меня, потому что ей глаза нужны, чтобы видеть, как этот идет со своими пузырьками на груди.

Да, для этого у нее глаза. И вся она худенькая такая, а казалась тогда, в окне, плотной и даже пышной, и на мотоцикле, когда обнимала своего Сергея, тоже... А тут худенькая. Руки тонкие, загорелые.

И лицо загорелое. А щеки даже ввалились немного. И когда улыбнулась этому своему, среди ровных, белых зубов один темный с самого краю. А этому хоть бы что: он и не замечает этих дефектов, он смотрит на нее во все глаза, и ему хорошо, что она худенькая, что нечесаная, заспанная, что с краю один зуб у нее темный, и это видно... А ну, улыбнись!.. У Маруси зубы как нарисованные, и сама она спортсменка по плаванию, и платье, если она наденет, не хуже будет, чем у этой, помялось все... А вот сидит и держит его лохматую голову на своей худенькой руке, и ей тоже это приятно, что голова у него лохматая, с соломинкой какой-то, и держит она его голову не из форса: вот, мол, как я его крепко люблю,— и не для других, а для себя самой, по сторонам победно не смотрит.

...И тут поезд остановился. Незаметно приехали. Со всех сторон обступила Москва. И люди побежали.

Сытов старался выйти так, чтобы хоть в последний раз увидеть, как они идут, эти двое. Он выбрался из вагона и помнил, как Сергей кивнул ему на прощание и как она небрежно качнула ладонью — до свидания...

Вон они идут, торопятся. А рука его все так же на плече у нее. Хорошо, что гитара цела!

И вдруг кто-то взял Сытова за локоть, мягко, но требовательно.

Это был лейтенант милицейский, рыженский такой, молоденький, весь в новом. И он крикнул кому-то:

— Давай, давай... и тех бери! Во-о-он пошли... Это они пошли? — спросил он у Сытова.

— Что? — сказал Сытов.

— Дружки твои?

— Пустите мой локоть, мальчик, — сказал Сытов очень мягко, неторопливо. — И тыкать мне не надо...

— Ах ты! — сказал лейтенант. — Не разыгрывай! — Но локоть выпустил. — Иди, иди, давай...

И Сытов пошел, прижимая к боку гитару, пошел, как нож сквозь масло, потому что публики расступалась с любопытством и неприязнью.

— Что же это случилось? — сказал Сытов. — Может, я украл что-нибудь, а сам не заметил?

— Иди, иди, — сказал лейтенант. — Слюни не распускай!

— Ах, как некрасиво! — сказал Сытов, пряча усмешку. — Это вам не подобает... Вы же такой молодой и симпатичный... Зачем это?

— Сейчас у меня протрезвеешь, — сказал лейтенант.

«Как он передо мной прыгает! — подумал Сытов. — Ему нужно показать, что он все может, все ему позволено, потому что он незаменим на этом месте, а если бы не он, то все бы перевернулось, и я, например, ходил бы на руках и всех бил бы по головам кифарой».

И они прошествовали к зданию вокзала.

«Как в магазине», — подумал Сытов, когда вошел в комнату дежурного, потому что барьер похож был на прилавок и капитан за барьером ходил, как продавец, и Сытову стало смешно про себя, и он чуть было не сказал вслух: «Двести грамм сосисочек...»

А этот, в кожанке, Сергей, тоже был здесь, стоял возле прилавка, и она, с синими глазами, стояла вплотную к этому своему, и рука его все так же лежала на ее плече.

И вдруг Сытов только сейчас понял, что платье у нее зеленое, помятое все. Почему он раньше-то не замечал?

«Сколько разных изобретений, — подумал Сытов, — чтобы я со своей досточки не сошел и на чужую бы не ступил!»

А капитан тем временем вышел.

Сытов присел на лавку, потому что от голода стало трудно стоять.

— Не рассказывайся! — сказал лейтенант, и гитара зазвенела.

Тогда Сергей подмигнул Сытову и сказал этому рыженскому, симпатичному на вид:

— Зачем же вы так строго? Мы ведь ни в чем не виноваты...

— А ты язык не распускай и встань, как положено! — сказал лейтенант, и гитара снова зазвенела.

— А как положено? — спросил Сергей, будто он совсем наивный.

— Руку с плеча убери!.. Парочка...

— Зачем же вы так? — снова сказал Сергей. — А вдруг мы не виноваты? Как же вы будете потом нам в глаза смотреть?

— Положи гитару! — сказал лейтенант Сытову. — Чего ты ее за струны дергаешь?

— Я не дергаю, — сказал Сытов.

— Дергаешь! — сказал лейтенант. — Она звенит у тебя...

— Она звенит, потому что чувствительная, — сказал Сытов. — Она не может, когда меня тычут...

А эта, с синими глазами, засмеялась, и рыженский на нее уставился...

— А мне что сделать? — спросила она.

Но лейтенант ничего не сказал, потому что вошел капитан, и Сытов подумал, что теперь этот рыженский должен стать послушным и ручным. Как ты перед ним прыгать будешь, а? А ну посмотрим...

И тут началось: всякие там фамилии, род занятий, место жительства.

— Много выпили? — спросил у Сытова капитан.

— Одну кружку, — послушно сказал Сытов.

— Что пили? — спросил капитан.

— Молоко, — сказал Сытов.

— Да вы не слушайте его, товарищ капитан, — сказал лейтенант, улыбаясь белыми зубами. — Ты брось трепаться! — сказал он Сытову.

— Ну ладно, ладно... — сказал ему капитан и — Сытову: — Шутить будете, знаете, где?

— Да не пил я! — сказал Сытов удивленно.

— А если подумать? — сказал рыженский.

А Сытов слушал все это, а сам посматривал на нее, как она стояла, слегка приподняв плечи, как бы удивляясь всему, хотя это им вот, которые задают вопросы, следовало бы удивляться, видя этих двоих, полных любви, ни о чем не кричащих, не бьющих ничего...

«Понедельник — день тяжелый», — подумал Сытов, и ему стало вдруг легко и немного безразлично, когда он нагляделся на этих двоих и увидел их ясность и тишину перед суровым миром, который, наверное, должен был быть таким, чтобы стомокисы всякие спокойно лежали в своем спирту, поджав коленки, а не выплескивались в разные стороны пополам с битым стеклом.

— Это ваше? — спросил капитан у Сытова и указал на гитару.

— Это кифара, — сказал Сытов.

И тут все выяснилось, конечно, потому что два прекрасных молодых таксиста (один в клетчатом пиджаке, другой в фуражке), жалуюсь, рассказали в заявлении, что, просто гуляя себе за городом и желая попасть домой, сели тихо, как все, в электричку, и поехали, и смотрели в окно на наш дорогой подмосковный пейзаж, как вдруг трое хулиганов



62

начали к ним приставать, да еще с кулаками, и вот отчего они, прекрасные молодые водители, выпрыгивали на ходу из поезда с кровавыми физиономиями, где и были схвачены: постовым милиционером, случайно проходившим домой со смены. И теперь им стыдно показаться на своем передовом производстве в таком виде... А три хулигана помчались

себе в Москву как ни в чем не бывало, и это в нашей стране, где рабочий класс в большом почете...

И Сытов громко засмеялся и сказал, глядя в хмурое лицо капитана:

— Вот как это устроено! Оказывается, можно все перелистать с другого конца и снова прочитать, и все будет правильно. Вот так книга!

— Какая еще книга? — спросил капитан.

— Он вам наболтает, товарищ капитан, — сказал рыженький торопливо.

А те двое не смеялись. Наверное, такая мысль давно уже была у них, и они не поразились, подумав о ней, как, например, Сытов. Действительно, а почему это он, Сытов, не хулиган? Или этот, в кожанке? Или она, с синими глазами, в помятом зеленом платье, нечесаная?..

— Третий хулиган, — это я, очевидно? — сказала она.

И капитан поджал губы, но спросил:

— В драке участвовали?

— Конечно, участвовала, — сказала она с вызовом, так, что у Сытова сердце екнуло и дух захватило.

И вдруг его осенило: почему это у них фамилии разные да еще и адреса?.. Батюшки, да она его любовница, очень просто, а не законная жена!.. А как они стояли рядом перед этим, и рука на плече!..

И Сытов заметил, что она смотрит на него, но как-то отчужденно, словно издалека. «Не узнала, — подумал он, — не вспомнила...»

— Ладно, — сказал капитан, почесывая затылок, — сейчас вернусь. Посидите... — И ушел.

Эти двое тихо переговаривались, о чем, неизвестно. А Сытов прислушивался к слабому звону гитары: она все не могла успокоиться, и на густом фоне басов вызванивали тонкие струны, как колокола.

А рыженький уже сник. (Ненадолго его хватило!) Что-то ему привиделось, наверное... Что-то он сообразил, что ли? Он уже кричать позабыл, уже не петушился, а смотрел быстрыми глазами то на Сытова, то на этих двоих, и если они, например, делали какое-нибудь движение, ну, например, он у нее локон на лбу поправлял, то рыженький говорил с широкой улыбкой:

— Может, расческу дать? Удобнее расческой!..

Но они ему не отвечали, даже не смотрели в его сторону. Или Сытов, например, наклонялся к гитаре, чтобы послушать, успокоилась или нет, а он говорил торопливо:

— Звенит все еще!.. Как живая!..

Но Сытов тоже на него не смотрел. Он сказал этому Сергею:

— Сейчас бы поесты!.. Что-то меня совсем подвело!..

— Надеюсь, — сказал Сергей, — скоро эта комедия закончится.

— А вы потерпите, — сказал рыженький по-приятельски, — на войне еще труднее было.

Но на него опять не посмотрели.

И тут снова вошел капитан, и глаза у рыженького забегали: он ждал, что там выяснилось, чтобы знать, как себя в дальнейшем вести!..

— Ну вот, — сказал капитан и швырнул на стол бумаги, — все и выяснилось... Вот беда!.. Те двое, которые на вас жалобу писали, сами, оказывается, хулиганы!.. — И замолчал.

А рыженький глядел на всех счастливыми глазами, а может быть, и в самом деле был счастлив, кто знает!..

— Теперь, — сказал капитан, — я должен перед вами извиниться. Вы извините, пожалуйста!.. У нас работа такая!..

— Ну как? — сказал Сергей рыженькому.

— А чего? — сказал тот.

— Вы можете идти, — сказал капитан. — Я вам сейчас справки для работы выпишу!.. Вы извините, пожалуйста!..

— Мы, конечно, пойдем, — сказал Сергей твер-

до, — но сначала этот гражданин (это на молодого лейтенанта) пусть извинится перед моей спутницей лично.

— Чего?! — крикнул вдруг рыженький нахально.

И гитара загудела на разные голоса от его звонкого неопытного тенора.

— Ну-ну, — сказал капитан устало.

— Да чего мне извиняться? — сказал рыженький потише. — Взял, привел!.. У меня работа такая!.. Вы же сами велели.

— Ну-ну, — снова сказал капитан.

— Ну извините, — сказал рыженький этой, с синими глазами. — Извините!..

А она стояла под рукой своего Сергея и глядела мимо рыженького, как будто он какой-нибудь стомоксис.

— Все на милицию обижаются, — сказал рыженький и засмеялся.

И гитара зазвенела.

— Зачем же такие слова говорить? — сказал Сытов лейтенанту. — А если вас в пивной ларек торговать поставить да еще цветочек в руки дать, вы что, лучше станете?..

— Чего?.. — не понял рыженький и быстро взглянул на капитана.

А капитан подошел к Сытову и сказал:

— Вы вот тогда насчет молока сказали, что, мол, молоко пили!.. Ну зачем?.. Какое еще молоко? Так, чтобы подразнить, да?

— Да пил, пил, — засмеялся Сытов. — Вчера вечером!.. Вот она сама мне в кружку налила и поднесла. В самом деле. Вот она (на эту, с синими глазами). — И посмотрел на нее и увидел, как у нее глаза вспыхнули, но только на миг, и снова погасли.

«Не вспомнила, — подумал он, — позабыла!..»

И они вот так вывалились на площадь.

И снова этот Сергей кивнул Сытову, а она покачала маленькой своей ладошкой, и они нырнули в метро!..

А кругом гудели машины. И гитара протяжно гудела, согревая Сытова бок. Кифара!

И вдруг он вспомнил Марусю, про которую позабыл, и пока они там стояли, у этого прилавка, весь день и Сергей держал свою руку на плече у этой своей и, наверное, единственной, Сытов-то сам по себе был, ну если гитары не считать!..

Потом он долго шел по всем улицам. Ночь уже нахлынула, а он все шел. Дождь полил, а ему хоть бы что. Даже справка в кармане, что никакого прогугла не было!..

Он долго звонил у дверей, весь промокший и радостный отчего-то. Звонил, звонил, пока мужчина не спросил хрипло:

— Кто там?

— Свои, — сказал Сытов.

— Какие еще свои?

— А где Маруся?

— Уехала Маруся, — сказал голос удивленно.

— Уехала? (А ведь и вправду уехала). Когда?

— Да уж года два будет!..

И в самом деле два года!.. И писем нет.

— А вы кто будете? — спросил голос удивленно.

— Ну Павел это!.. Сытов!.. Был такой!..

— Был да сплыл, — сказал голос, и цепочка загремела, и все стихло.

А дождь все шел, все сыпал, как тогда, два года назад, когда его, Сытова, еще помнили в этом доме.

— Стомоксис, — засмеялся он, — я весь промоксис!.. — И пошел с легким сердцем.

Ленинград, 1965 год.

